

В. ТЕНДРЯКОВ

★

РАССКАЗЫ РАДИСТА

Солнышко

Давно вышли из строя старушки «6-ПК», про которых радисты говорили: «Шесть-пэка» натрет бока» — полк получил новые радиостанции. Меня назначили начальником одной из них.

Есть начальник, есть поблескивающий ручками на панели управления благородно серый инструмент — «12-РП» в двух упаковках. Не хватало лишь подчиненного штата.

Положено — три радиста, но где там три... Сняты с полевых кухонь помощники поваров — меняй черпак на винтовку, иди в роту, окапывайся, стреляй. А помощника повара радистом не поставишь.

Хожу в начальниках, отлаживаю рацию, надоедаю своему непосредственному начальству — командиру радиовзвода лейтенанту Оганяну:

- Даешь штат!
- Обещают.
- Троих?
- Одного.
- Ну, двоих выхлопчи.

Оганян молчит, напускает на себя значительность. Он и сам хотел бы троих. Одна надежда — Оганян упрям, авось переупрямит.

Не вышло.

У нашей землянки появляется парень — плотноват, плечист, с заправочкой бывалого вояки, лицо кругло и румяно, как домашний пирог, и по всему лицу от уха до уха растеклась улыбка — предел добродушия, чуть-чуть приправленная снисходительностью. Улыбается, словно говорит: «Не тушуйся, я — парень простой...»

А я и не собираюсь тушеваться — как-никак начальник, не хватай голой рукою.

- Солнышков.
- Что — солнышко?

— Не солнышко, а Солнышков, фамилия моя такая. Зовут Виктором.

А физиономия лучится улыбочкой. При такой физиономии да такая фамилия — ну и ну, попадание в яблочко.

Я веду улыбчивое Солнышко к зуммерному столу.

Мы уже давно стоим в обороне, не только выкопали землянки с накатами, не только пробили от землянки к землянке тропинки, но даже соорудили перед своим входом такую роскошь, как зуммерный стол с ключами и гнездами для наушников. За этим столом мы время от времени тренируемся в приеме и передаче «морзянки». Время от времени, не

насилуя себя, так как наш лейтенант Оганян покладист, считает, что фронт и без того тяжел, незачем излишне обременять солдата.

Солнышко сел за стол, покосился на ключи, но улыбается таж, словно я не будущее его начальство, а милейшая теща, собирающаяся поставить перед ним масляные блины и забористый первачок.

— Ты работал радистом?

— Угу.

— Батальонным? Полковым? В артиллерии?

— На «катушках».

Ответы мгновенны, никакого раздумья, взгляд прям, открыт, добр, и ни на секунду не сходит задушевная улыбочка с полных губ.

— На «катушках»? Ого!

О «катушках» в окопах рассказывают легенды. И всякий, кто хоть как-то был связан с этим таинственным и могучим оружием, сам легендарен для пехотинца. Вот ведь где побывал парень, хотя я бы предпочел, чтоб он пришел ко мне с флота или из авиации — там классные радисты.

— На ключе работал?

— На чем?

— На ключе. Вот на этой штуке.

Улыбка и ответ:

— Немного.

Не так-то просто оценить мастерство, скажем, бухгалтера или артиллериста. Надо долго испытывать, приглядываться, да и после этого не всегда-то появляется твердая уверенность — справляется на «пяты» или вытягивает на «тройку». Но мастерство радиста узнается сразу и с математической точностью, стоит только задать вопрос. И я его задал:

— Сколько групп принимаешь?

— Чего?

— Сколько групп цифрового текста на слух?..

И впервые Солнышко на секунду замялся, но только на секунду, не больше.

— Сколько? Да сорок.

— Сорок!

На меня напала робость. А вдруг да, чем черт не шутит... Лучшие наши дивизионные радисты принимали тогда на слух двадцать три пятизначные группы в минуту. Двадцать три — лучшие! А я, обученный впопыхах за какой-нибудь месяц в школе младших командиров, я, от природы не блиставший способностями, один из тех, кому «медведь на ухо наступил», принимал всего восемь групп, ну, при удаче и усердии — девять. Сорок! Я даже не знал — существуют ли такие виртуозы. Наверно, существуют. Вдруг да редчайший экземпляр сидит передо мной, глядит счастливыми глазками мне в зрачки, улыбается: «Ничего, мол, не тушуйся, я — парень простой».

— Вы... — начальническая спесь слетела с меня, я стал заикаться от уважения. — Вы не ошиблись?

— Ну, может, не сорок, может, двадцать. Точно не помню.

— А может, пять или четыре? — спросил я.

— Может, и пять, — охотно согласился он.

Я сердито уставился на него, а он глядел невиннейше, глядел и улыбался, и в его улыбке — все то же: «Ты не тушуйся, сам видишь, я — парень простой».

И я не выдержал гонора, расхохотался. Счастливо засмеялся и он.

— Ну, ладно, скажи — кем был?

— Минометчиком. Командиром батареи быть приходилось.

Ну уж нет, теперь меня так просто не купишь — был бы командиром, хоть какие-то знаки различия на петлицы нацепили, а они чисты.

— Плиту таскал?

— Таскал.

— Вот этому верю. Раз плиту таскал, будешь таскать и рацию. Спина, вижу, крепкая.

Я ведь знал, что мне все равно другого не дадут, выбирать не приходится.

Так у меня появился подчиненный — первый и единственный в жизни, других не имел.

Из всей радистской премудрости Витя Солнышко усвоил на слух лишь две цифры — «двойку» и «семерку». Первая напоминала по звуку фразу: «я на горку шла...», последняя — «дай, дай закурить...»

Но в нем сразу же открылся талант — быть там, где его не ждали.

В первый же день моего начальствования я высунув язык бегал по штабу полка, искал своего подчиненного. Был на кухне, был в землянке связных, сбегал в тыл к обозникам, всюду спрашивал:

— Не видали Солнышка?

Мне отвечали:

— Задери голову. Вон же висит, никуда не упало.

Наконец я рванулся к телефонистам, чтоб обзвонить все штабы батальонов, и увидел рядом с дежурным по коммутатору его, Солнышка, как всегда, счастливо улыбающегося.

На другой день я встал пораньше, чтоб мой подведомственный штат не успел испариться, поднял с нар:

— Идем, буду учить, как разворачивать рацию.

Вышли в степь. Я стал показывать, как укреплять шесты, как разбрасывать усы антенны. Витя Солнышко потел, усердно бегал вокруг меня, присаживался у развернутой радиостанции, а я колдовал с высокомерным видом древнеегипетского жреца:

— «Тюльпан»! «Тюльпан»! «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Я — «Клевер»! Как слышишь? Как слышишь? Даю настройку: раз, два, три, четыре, пять... Пять, четыре, три, два, один... Как слышишь? Я — «Клевер»! Прием.

Щелчок переключателя, шорох и хруст в наушниках, а затем буйно-напористый голос с полковой радиостанции:

— «Клевер»! «Клевер»! Я — «Тюльпан»! Слышу вас хорошо. Прием.

И Витя Солнышко восторженно шлепал себя по ляжке:

— Ах ты, кузькина мать! Аж в ухо бьет.

Неудивительно — полковая радиостанция находилась в каких-нибудь пятистах шагах от нас.

Наконец я доверил Вите Солнышку микрофон, приказал:

— Сам установи связь.

Солнышко решительно взялся за дело.

— «Клевер»! «Клевер»! Эх, так твою перетак! Спутал... «Тюльпан»! «Тюльпан»! — заорал он на всю степь. — Как слышишь?!

— Слышу. дай бог. Даже без рации, — последовал ответ.

— Вот ведь техника! — умилился Солнышко.

Когда я доверил Вите упаковку питания, он от усердия такого напел, что чуть не сделал короткого замыкания. Мне пришлось долго ковыряться.

Наконец анодные батареи были прикреплены к своим клеммам, аккумулятор — к своим, я поднял голову:

— Напортачил... Ну, вот... Все в порядке...

Однако не все в порядке. Вити Солнышка не было на месте. Там, где он сидел, — лишь примятая полынь. А только что минуту назад я слышал над ухом его виноватое сопение.

Справа, слева, спереди, сзади нет — исчез! Степь пуста, только в стороне возятся незнакомые артиллеристы с пушкой.

— Эй! — крикнул я слабо. — Хватит в прятки играть! Вылезай!

Не тут-то было. Спрятаться можно только в сурчиную нору — степь, как блюдо. И меня охватило отчаянье — кого это мне подсунули? Что у него вместо пилотки — шапка-невидимка на башке?

Как ни совестно, а пришлось связаться с полковой рацией:

— «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Не сбежал к вам Солнышко?

— «Клевер»! Я — «Тюльпан»! Опять закатилось? Сочувствуем. Здесь вроде не светит...

— «Тюльпан»! Я — «Клевер»! Буду сворачиваться...

— Сворачивайся, «Клевер». Но как ты притащишься с двумя упаковками?

— Как-нибудь притащусь. Черт бы побрал помощничка...

Я один свернул радиостанцию. Шесты, оттяжки, две упаковки по бокам — я, грузенный, словно ишак, побрел к штабу с твердым намерением предстать перед лейтенантом Оганяном, потребовать — даешь другого.

Но едва я сделал пять шагов, как Солнышко вырос передо мной потный, пыльный, с мазутным пятном на щеке, с широченной улыбкой — счастливый человек, не ведающий о своей вине.

— Артиллеристам помогал... В воронку ввалились...

И я непедагогично раскричался:

— Шалава! Ты и в бою такие нырки устраивать будешь? Сегодня же доложу! Полетишь к чертовой матери из радистов! С меня хватит. Пусть другие нянчатся!

А Солнышко задушевнейше улыбался: «Ты не тушуйся зря... Сам видишь, не хотел тебя обидеть».

Он взвалил на свои плечи и приемопередатчик, и набитую тяжелыми батареями упаковку питания, зашагал бодро, улыбаясь в открытую степь.

Опускалось солнце, в лицо дул вечерний, прохладный ветерок.

И я размяк...

Мы меняли оборону, были походы. Телефонисты не успевали наводить связь. И тут радисты, от которых наше командование обычно отмахивалось: «Э-э, вижу да не слышу, проволочка надежнее», оказались нужны.

В походах я держал Витю Солнышка за гимнастерку. Он нес упаковку питания и в любую минуту мог исчезнуть, и тогда наша радиостанция будет нема, как камень.

Новые места, новые землянки, новая жизнь.

Немецкие батареи утюжили степь, перепадало и нам, приютившимся в пологом овражке. Один снаряд пролетел под брюхом старой коняги, таскавшей полевую кухню, подпалил, сказывают, даже шерсть, срубил жиденькую ветлу, врезался в землю и... не взорвался. Случалось и такое.

Отбивалась одна атака за другой, передовая захлебывалась.

Я устал следить за Витей Солнышком.

Пролетавший «мессер» обстрелял повозки, подвозившие боеприпасы к минометной батарее, уложил одного и ранил второго повозочного. Старшина, сопровождавший повозки, растерзанный, с дергавшейся от контузии щекой, метался среди степи.

И, конечно, старшине подвернулся не кто иной, как Витя Солнышко, улизнувший из-под моего надзора. И, конечно, он, не раздумывая долго, взгромоздился на одну из повозок, погнал коней через степь, к передовой...

Средь окопанных минометов, выставивших стволы к синему небу, метался лишь командир батареи, остальные сбежали. С пологого взлобка скатывались немецкие автоматчики, падали в высокую траву и ползли. Командир батареи снимал замки...

Автоматные очереди хлестали по огневой, курилась пыль, брызгали комья глины от брустверов. Обычно летящие в воздухе пули высвистывают застенчиво и вкрадчиво, сейчас они истерично визжали, рвались сухими хлопками. Автоматчики били разрывными.

И в это-то время на место, откуда сбежали не новички, а обстрелянные солдаты, ворвалась пара взмысленных коней, запряженных в повозку. Витя Солнышко стоял во весь рост и нахлестывал разгоряченных лошадей, обезумевших от близкой автоматной трескотни, свирепого визга пуль, остановить их было нельзя, они могли унести и ящики с минами, и лихого повозочного прямо к немцам. Витя направил лошадей на окоп, они перемахнули, а повозка влетела колесами и перевернулась, вывалив прямо на батарею мины, а заодно и самого Солнышка.

Лошади помчались через высокую степную траву, перевернутая повозка кидалась из стороны в сторону, спугивая на пути автоматчиков.

А Солнышко, схватив из разбитого ящика мину, бросился к миномету. С ним-то он умел справляться куда лучше, чем с радиостанцией «12-РП». Подскочил и командир батареи...

Первая мина разорвалась в траве, неподалеку от рухнувших коней. Сразу же выскочили сутуловатые фигуры автоматчиков, пригибаясь, бросились назад, на пологий склон взлобка, столкнулись с теми, кто спускался, перемешались, замялись.

Вторая мина, взвывая к небу, описав крутую дугу, опустилась в сутолоку на склоне... За ней еще и еще... Автоматчики бросились врассыпную...

На пригорке остались только трупы и воронки. Принялись бросать за пригорок наугад, для острастки... Трудились до тех пор, пока не упали в бессилии, и Витя Солнышко счастливо извещил:

— Прикурить дали...

А командир батареи вдруг расплакался. Он был еще очень молод, мо- ложе самого Вити Солнышка.

— Ты чего? — от души удивился Витя.

— Думал: или эти прихлопнут, или... или... расстрел. Батарея-то драпанула... Они ползут — и конца им нет...

Мне не рассказал Витя, что он ответил, думаю, просто улыбнулся: «Не тушуйся, парень!...»

Оправившись, командир батареи вдруг спросил:

— Да ты-то кто?

И, конечно, Витя не без гордости ответил:

— Радист.

Тут же, не медля, решил удивить своими знаниями:

— На слух принимаю... Вот слушай: «двойка» — «я на горку шла». Уловил? А вот: «Дай, дай закурить». Уловил? Это, брат, «семерка».

Но командир минометной батареи, размазывавший по лицу грязь пополам со слезами и потом, не сразу оценил ученость Вити Солнышка.

Тут появился хромавший на обе ноги, с дергающейся щекой старшина, который вел за собой сконфуженных минометчиков. Старшина выглядел теперь иным — не растерянный и растерзанный, а грозный начальник, спасший положение:

— Дерьмоеды! Курицы мокрые! Ишь, разлетелись, сучьи дети!.. — кричал он на минометчиков.

— Коней я тебе угробил, — сообщил Солнышко. — Вон там лежат... Кони добрые, должно, овсом кормил...

— Коней достанем. Я ведь за тобой на второй повозке гнался, у меня тоже правую подшибло... Спасибо тебе, парень. Счастье мне, что на такого героя насочил... А эти?..— Грозный старшина повернулся к минометчикам.— Минометы побросали! Я бы вас, сукиных сынов, уж тогда заставил поплясать! Вы бы у меня повертелись, блохи прыгучие! Кланяйтесь в ножки парню, что выручил.

Солнышко не стал вмешиваться во внутренние дела, решил проститься:

— Ну, бывайте здоровы — мне пора.

— Да ты кто есть-то? — спохватился и старшина.

— Радист, — почтительно ответил за Витю командир батареи и еще почтительнее добавил: — На слух принимает.

Других сведений о Вите Солнышке он сообщить не мог.

А в это самое время я занимался привычным делом — бегал по штабу полка и справлялся:

— Солнышка не видали?

И мне сочувствовали:

— Опять закатилось?

— Закатилось, холера. Чуть отвернись — уже нет. Жизнь проклятая, буду проситься в телефонисты.

Он появился к вечеру. Я его застал в землянке. Сжав коленями котелок, он уписывал кулеш, взглянул на меня, с набитым ртом поприветствовал своей неизменной улыбочкой.

— Что мне с тобой делать? — в лоб спросил я.

Но вразумительного ответа не дождался. Солнышко улыбался.

А утром радистов одного за другим стали таскать в штаб полка. Принимал сам командир, подполковник Усиков.

— Кто из вас лучше всех принимает на слух?

Первым назвали Квашнина, он из кадровых, старый радист, вряд ли уступит в приеме на слух армейским и дивизионным радистам.

— Где был вчера от трех часов до шести?

— Дежурил. Ровно в пятнадцать ноль-ноль связывался со штабом дивизии.

— Не подойдет. Кто из вас еще хорошо принимает на слух?

Перебрали всех, дошли до меня.

— На слух принимаешь?

— Так точно. Немного.

— Хотя бы немного. Где был вчера от трех до шести?

— Здесь, товарищ гвардии подполковник!

— Где это — здесь?

— В штабе полка, товарищ гвардии подполковник!

— Где именно?

— Искал Солнышка.

— Но-но, без шуточек.

— Виноват, Солнышкова. У меня радист — фамилия Солнышков. Его искал, товарищ гвардии подполковник.

— Ах, есть еще радист?

— Недавно назначили.

— Он на слух принимает?

— Никак нет, товарищ гвардии подполковник!

— Так какой же он радист?.. А впрочем, других больше нет... Позови-ка сюда это... как его, Солнышко...

Всем было ясно — случилась какая-то неприятная заварушка. Сам

командир полка разбирается. А кто еще из радистов мог отлучиться и набедокурить, как не Витька? И мне стало жаль его.

В душе я надеялся, что его, как всегда, придется долго искать, а там, глядишь, случится что-нибудь — или приказ о наступлении, или вызов командира полка в штаб дивизии. Замнется, забудется, мимо пройдет.

Но на этот раз Витя Солнышко был на своем месте. От безделья он нашел себе занятие — надраивал полой шинели алюминиевый котелок и пытался разглядеть свою глупую рожу в донышко. При этом сам себе улыбался.

— Иди, командир полка тебя вызывает.

Нисколько не смутился, нисколько не удивился, словно командир полка вызывал его каждый день не по одному разу. Оправил под ремнем гимнастерку, надвинул пилотку — на два пальца над бровью, — с сомнением поглядел на свои пыльные, покоробленные кирзовые сапоги — стоит ли их чистить, решил: не стоит, сойдет и так, — двинулся, пристукивая каблуками, унося затаенную улыбочку — отзвук той, с какой гляделся в дно котелка.

Вернулся через полчаса — над круглой физиономией торчит пилотка, край на два пальца над несуществующей бровью, заправочка — как положено, улыбочка — как всегда: «Не тушуйся, я — здесь...»

— Ну?..

— К ордену представляют.

— За что?

— Немцев остановил. Наломали бы дров...

— Не пойму... Какой орден?

— Может, Красного Знамени, может, Ленина.

— Героя не хочешь?

— Может, Героя, а что?..

Его представили к ордену Красной Звезды. Но от представления к получению — путь не малый, на этом пути случаются и кочки.

До сих пор был лозунг: «Вперед на запад!» Сейчас на танках, поддерживающих наш полк, выведены надписи: «Вперед на восток!» Сталинград лежал к востоку...

На пути наступления подвернулись землянки.

Неплохо немцы тут обжились. Первые, кто заскочил в землянки, дивились:

— Эва! Музыкой забавлялись.

Щупали черный рояль.

— Мать честна! А зеркало-то! Откуда такое сперли?..

Ворочались перед огромным трюмо, любовались — рожи грязные, ошпаренные морозом, мятые, пузырящиеся под ремнями шинели, кирзовые подсумки, сумки с гранатами, обвисшие подшлемники, косо сидящие каски — хороши, так и подмывает шархнуть от самого себя.

Но кто-то шмякнул свой вывоженный в окопах вещмешок на крышку рояля, в валенках, в полушубке полез на инструмент:

— Эх-ма! Разведу сейчас музыку — три ночи не спал.

Другой ткнул его в зад:

— Пододвинься-ка, место двуспальное...

Были тут и широкие нары, укрытые ковром. На них лишь завистливо косились, но не занимали — тут начальство заляжет.

Устроились в два этажа — на нарах командир батальона со своим штабом, под нарами и на полу, спина к спине, голова к голове — телефонисты, рассыльные, мы — радисты, какие-то случайные солдаты из взвода ПТР со своими неуклюжими, как старинные пищали, ружьями. Их пробовали выставить на мороз, но где там — угнездились, огрызаются,

дымовыми шашками не выкуришь. Набились так, что ладонь ребром не протиснешь, к выходу по малой нужде пробирайся по плечам, ногам, головам.

Солнышко рядом со мной, держу на прицеле, не отпускаю от себя ни на шаг. Но вот поднялся.

— Куда?

Лезет к двери, мнет лежащих, те ругаются:

— Полегше, дядя. Не мостовая — люди живые.

— Куда?

— Терпежу нет... Сейчас вернусь.

Вернулся, не обманул, но застрял, не доходя до меня, возле сержанта Степанова из телефонистов. У Степанова влажные, доверчивые глаза, лицо без хитрости, а сам пройдоха, каких мало. Выманил у меня старую добротную полевую сумку на подметки для сапог, обещал сала. Сапоги он себе сшил, а сала — выкуси. Солнышко и Степанов шепчутся, к ним прислушивается солдат из ПТР — острая морщинистая физиономия старой лисы. Не к добру.

— Солнышко!

Ползет ко мне.

— Что там затеял?

Сдвинул шапку на лоб, почесал затылок, чуточку обескуражен, только чуточку, на большее никогда не хватало.

— Слушай, младший сержант... Отпусти на часок.

— Эт-то куда?

— Да надо.

— Ложись и спи.

— На нейтралке, в овраге, — немецкие склады...

— Ну и что?

— Как — что? Говорят, спирт в канистрах — залейся. Консервы разные...

— Ладно, ладно — забудь.

— Ты пивал коньяк?

— Ну, нет.

— А я пил.

— Положим...

— Хочешь, принесу?.. Заграничный! Запах, что духи.

— Коньяк тебе нужен! Шило в заднице!

— На часок, на один часок!

— Ложись!

Я неумолим. Вдруг да отгадут приказ — вперед! Останусь с двумя упаковками, без помощника. Нет уж, дудки, сегодня не выгорит.

Витька повздыхал, поканючил, поерзал — уронил голову на веще-шок, через минуту спал сном младенца.

Уснул и я...

Проснулся оттого, что мой бок никто не греет. Поднял голову — рядом пусто, Солнышка нет. Приподнялся на локте: черт бы всех побрал, нет и Степанова, да и старик солдат из пэтэровцев исчез.

Смыться во время наступления — это уж слишком. Взять бы да доложить... Но на фронте не церемонятся: самовольный уход расценивается как дезертирство — если не расстреляют, то, как пить дать — упекут в штрафную роту. Как ни зол на Солнышка, а подводить под монастырь желания нет.

Кошусь на дежурного телефониста. Он в любую минуту может встрепенуться, почтительно дернуть за хромовый сапог комбата:

— Товарищ капитан! Вас — ноль один. Срочно!

Ноль один — командир полка, он отдаст приказ о наступлении. И всколыхнутся все, а я буду сидеть у двух тяжелых упаковок, как баба-мешочница на вокзале, пропустившая поезд.

Но телефонист, распустив губы, дремлет без шапки у телефона, веревочная петля наброшена на стриженую голову, с ее помощью телефонная трубка без рук держится у уха... Ходуном ходит землянка — невпроворот сап и храпение, все спокойно...

Наступая на плечи, руки, головы, выслушивая сонные ругательства, я выбрался на волю...

Темноту хоть режь ножом, только у самых ног серовато маячит снег. Идет ленивая ночная перестрелка. Пролает автоматчик с той стороны, наш ответит: «Слышишь, не сплю, сукин сын, так-то...» Очнется от дремоты третий, четвертый, тоже для порядка пустят очередь в черные небеса, забрешет вразнобой передовая, как разбуженные собаки в деревне.

Выкатилась ракета, выписала знак вопроса, погасла, не долетев до земли... После ракеты перестрелка не разгорелась, а увяла, значит — ползущие под немецкие окопы Витя Солнышко с приятелями не замечены...

Все спокойно. Такое спокойствие может длиться час, два, сутки, трое суток, недели и месяцы. Под Старыми Рогачами всем казалось, что остановились на часок, а простояли два месяца... Все спокойно...

Я влез обратно в теплую, густо запашистую землянку, добрался до своего места.

«Эх, сниму стружку!»

Через несколько минут я спал.

Они перекурили с солдатами, сидевшими в передовых окопах, предупредили их: «Обратно полезем, дуриком-то не стреляйте, еще ухлопаете...» Командиру роты обещали поднести при удаче. Командир роты не остановил их, что ему — не его состав, головы потеряют — он не ответит.

Ползли тихо, зарывались в снег...

Нейтральная полоса — место для разгону, нельзя же сидеть с противником нос к носу вплотную. Нейтральная полоса — земля, из которой уже вышибли противника, но не прибрали еще к рукам. Земля неизведанная, неразгаданная, такая же таинственная, как и намерения врага. Откуда обычно узнаются сведения, что там, в непрощупанной полосе, находятся богатые склады?.. А, как правило, узнаются, распространяются с быстротой молнии среди солдат. До командования они доходят в последнюю очередь.

Ползли тихо, зарывались в снег...

Немецкий пулемет бил поверх их голов, куда-то в тыл к нам. Трассирующие пули рвали на клочки темноту.

Перележали и вспыхнувшую ракету. Их не заметили только потому, что немцы и подумать не могли — русские решатся разгуливать возле их окопов.

Ракета осветила склон оврага, в нем — темные двери землянок, возле которых снег измят скатами машин. Склады!

Дверей много, склады разные — обмундирования, горючего, боеприпасов. Звериным чутьем угадали те, какие нужны.

Подползли и... рывком к двери — один, второй, третий... Прислушались — тихо. Порядочек, теперь уже так просто отсюда не выкурят.

Поплотней прикрыли за собой дверь, посветили фонариком. Бочки, ящики, бумажные мешки. Кажется, не ошиблись. И запах провиантского склада — затхло-влажный с кислотинкой.

Нашарили парафиновые плошки. Там, где были немцы, всегда валяются эти плошки и пакетики сухого спирта. Этот спирт — не спирт, огнем горит, пить нельзя.

Зажгли плошку, поставили на бочку, огляделись уже внимательнее, с прикидкой — с чего начать?

Нет, не ошиблись!..

Сорвали крышку с первого ящика — пакеты с пестрыми наклейками, верно, концентраты. Ну их к чертям! Второй ящик набит, как снарядами головками, банками консервов. Уже кое-что...

В углу в плетеных корзинах, каждая в своем гнезде, пыльные, богом и людьми забытые бутылки. Поднесли к свету одну, склонились голова к голове, поразмышляли над мудреной этикеткой: «Черт ее знает! А вдруг какая-нибудь жидкость от вшивости...» С грехом пополам — все трое грамотеи, как на подбор, — разобрали:

— Вроде «ром» написано?..

— Что-то похоже.

Все-таки не поверили, выковыряли пробку, приложились по очереди, глянули проникновенно друг другу в глаза: вонюч, как буряковый самогон, значит пить можно.

Не ошиблись!..

Начали набивать вещмешки, не торопясь, без жадности, с умом — бутылку от бутылки, прокладывая стружкой, чтоб не побились, банки консервов захватили на закуску.

Мешки набиты, снова переглянулись, без слов поняли друг друга. Во-первых, зачем нести добро только в мешках, когда можно унести и в собственном брюхе? Во-вторых, не мешает обстоятельно проверить разные марки — какая лучше. В-третьих, под богом ходим, вдруг да на обратном пути шлепнет, так и умрешь, не понюхавши, — совсем обидно.

Выдвинули бочку, подставили ящики. Садись, братва, не стесняйся, будьте, как дома. Расковыряли банку консервов, прикинули бутылку с одной этикеткой, с другой. По этикетке и выбрали ту, которая меньше раскрашена, — ну их, фокусы.

Крякая и закусывая, опорожнили, сообщили доверительно:

— А ничего...

Принялись за вторую:

— А ничего...

Почали третью...

Наконец спохватились: пора и честь знать. Ввалили на плечи мешки.

Сюда ползли — зарывались в снег, сейчас — это лишнее. Расхлобыстнули двери:

— Не закрывай. Завтра наши придут.

По-прежнему шла ленивая перестрелка. Били автоматчики. Плевать, пусть стреляют.

Обнялись, двинулись, услужливо поддерживая друг друга. Эх, море по колено! Споем, братцы! Почему бы и нет. Грянули:

Я уходил тогда на фронт

В далекие кра-а-я!..

Перестрелка разом смолкла. Далеко в стороне еще таял чей-то автомат, но и он сконфуженно заткнулся. Тишина, непривычная, пугающая тишина.

А в тишине от всей души:

И в Томске есть, и в Омске есть

Моя любимая...

Немецкие автоматчики, зарывшиеся в землю и снегу в нескольких шагах от песни, не стреляли. Неспроста, подвох, черт знает этих русских...

Автоматчики не стреляли, а, должно быть, немецкую оборону лихорадило в эти минуты: кричали телефонисты, подымались с угретых нар офицеры, выскакивали к орудиям расчеты...

И в Омске есть, и в Томске есть...

Сбились, запомнили слова, незлобиво переругнулись, затащили другую:

Эх! ты Галю, Галю молоденька!..

Их накрыл шестиствольный миномет уже у наших окопов, песня оборвалась, попадали в снег... Мины рвали на клочки мерзлую землю, степь задергалась от огненных всплесков. Над хмельными головами исчезло темное небо.

Едва кончилась первая партия выпущенных мин, как снова раздался несмазанный скрип — шестиствольный миномет посылал новые мины. И снова заснеженная земля выворачивалась суглинистой изнанкой...

Ответили наши минометные батареи, ударили с тыла орудия. Вовсю заговорили онемевшие автоматчики...

До утра не успокаивалась взбаламученная передовая.

Утром перед нашей землянкой вырос Витя Солнышко — лицо серое, глаза тусклые, ворот шинели в черной крови, в пятнах засохшей на шинельном сукне крови плечо и грудь.

— Витька! Ранен?

— Угу.

И, шатнувшись, обессиленно повалился навзничь.

Я бросился за санинструктором.

Подвернулся фельдшер, тонкий, ловкий, с кошачьими, ласковыми движениями. Распотрошив свою сумку, он обмыл шею, положив голову Солнышка на колени, быстро перебинтовал.

— Жив? — спросил я.

— Наполовину.

— Умрет?

— Вряд ли.

— Рана опасная?

— Самая чепуховая — кожу на шее осколком рассекло.

— Но что с ним? На ногах не стоит.

— Неудивительно. Мертвецки пьян.

Мне удалось засунуть Витю Солнышка под нары, в самый дальний угол, — пока начальство хватится, авось очухается.

И начальство хватилось. По телефону передали: сержант Степанов убит наповал в голову, незнакомый пэтээровец умер на ротном КП, ему осколком вырвало живот.

В батальон срочно прибыл лейтенант Оганян, заглянул под нары, покачал головой, почмокал губами:

— Нехорошо... Ка-кой молодой!.. А?.. Что из него дальше будет? Порядочный человек или негодяй?

Меня же волновала не столь далекая судьба Вити Солнышка, а та, которая должна решиться в ближайшие дни. Так просто с рук не сойдет, передадут в военный трибунал. Мне тоже достанется...

А из-под нар время от времени высывалась рука, грязная, цепкая, как лешачья лапа, хватала протянутый котелок, потом несколько минут

из подвальной глубины слышалось сопение, чмокание, чавканье — пустой котелок вылетал наружу, и снова — тихо; до тех пор, пока кухня не станет раздавать обед,— жив Витя Солнышко или почил в мире, никому не ведомо.

Оганын обещал прислать мне нового человека, но не успел.

Подняли — вперед!

Витя Солнышко вылез на белый свет, грязный, опухший от своего медвежьего сна, как сытый кот, добродушно жмурящийся на суету. Он решительно натянул на себя ляжку упаковки питания.

В наступлении некогда разбирать внутренние неурядицы — шагай вперед, не оглядываясь вокруг. Но после-то наступления — оглянутся, вспомнят, возьмут Солнышка за воротник.

А Солнышко полностью ожил, стал допрашивать меня с пристрастием:

— Ты ром пил когда-нибудь?.. Не-ет. А я вот попробовал.

В наступлении батальонный радист должен находиться рядом с командиром батальона — не отставай ни на шаг.

Наш комбат-два, капитан Гречуха, долговязый, сутуловатый, подбородок в мрачной щетине, хотя был щеголем — и брился каждый день, и в самые сильные морозы ходил только в хромовых сапожках.

Мне казалось, что в этого человека просто природа позабыла вложить чувство страха; случалось, он хватал ручной пулемет и вместе с солдатами шел в атаку, полосуя на ходу из пулемета. Солдаты его боялись куда больше, чем целого батальона немцев.

Он лез в самое пекло, за ним лез и я да еще должен глядеть краем глаза, чтоб Солнышко, несущее упаковку питания, не сбилось с пути, не закатилось куда-нибудь на сторону. Комбат Гречуха длинноног, всей ноши у него — пистолет да планшетка, а одна упаковка рации весила около двадцати килограммов. Поспеть за комбатом можно было лишь при отчаянном усердии. И мы усердствовали, всегда поспевали. Но самое обидное: комбат никогда не обращал на нас внимания, не пользовался радиостанцией.

Он не боялся пули, но недоверчиво относился к снарядам: «Прихлопнет — не узнаешь, кто тебя стукнул...» (Словно, если узнаешь, от этого легче.) Развернутая радиостанция вызывала у него раздражение:

— Раскорячились. Запеленгуют, лови тогда снаряды... А ну, подальше с этой шарманкой!

И вот мы ему понадобились.

Роты залегли перед маленькой станцишкой. Впереди ровное место, пересеченное железнодорожными путями, густо-бурячного цвета водокачка, голые деревья окружали две копотно-черные трубы — место бывшего станционного здания.

С водокачки бил пулемет, заткнуть его можно было только артиллерийским снарядом.

Капитан Гречуха ругался, обещал снять семь шкур с каждого телефониста — они путались со своими катушками где-то далеко в степи.

И тут-то Гречуха вспомнил:

— Где здесь эти, с ящиками?

По цепи метнулась команда:

— Радистов к комбату!

Метнулась и заглохла, потому что я находился рядом.

Быстро выкинул штыревую антенну, раскрыл приемопередатчик и с досадой оглянулся, почему Солнышко не подsunул мне под руку вилку от кабеля с упаковки питания. Но ни Солнышка, ни упаковки питания, увы, не было.

— Солнышко!! — в отчаянье позвал я.

И кругом засмеялись. Но из-под сросшихся бровей молча смотрели на меня темные глаза комбата, в них-то смеха не было.

— Солнышко!!

^ Кто-то спросил в стороне:

— Может, тебе заодно и луну с неба?

Комбат глухо произнес:

— Ну!.. Есть связь?

Если б у меня под рукой был пистолет или автомат, я бы в эту гнуснейшую, самую позорнейшую в моей жизни минуту, не задумываясь, пустил себе пулю в лоб. Но пистолетом я пока не обзавелся, а автомат мы держали один на двоих — таскать на шее и радиостанцию, и увесистое оружие тяжеловато. Автомат мы носили по очереди, сейчас вместе с ним, как и с упаковкой питания, где-то гулял Солнышко.

— Ну?!

— Связи нет и не будет,— ответил я.— Расстреляйте меня.

— Почему?

— Помощник сбежал с половиной рации.

Комбат, пошевелил кобуру на поясе, сказал:

— Тебя, сморчка, я не трону. А твоего помощничка — уж добыюсь — в расход пустят.

В это время подоспели обливающиеся потом телефонисты, притянули нитку. Расторопно подключили аппарат, деловито стали вызывать:

— «Левкой»! Это «Ромашка»... Сидим в квадрате сорок пять. Мешает водокачка. Срочно подбросьте «огурчиков».

И «огурчиков» подбросили...

Через сорок минут мы захватили станцию. Я уже не бежал в хвосте у комбата. Я ненавидел Солнышка, в эти минуты мне было нисколько не жаль, что его расстреляют. А то, что это случится, сомневаться не приходилось: комбат-два слов на ветер не бросал.

Мы только что расположились под разбитой «огурчиками» водокачкой, телефонисты едва успели заземлить свой телефон, как раздался голос:

— Товарищ капитан! Гостей ведут!

Комбат поднялся, в его неподвижно-тяжеловатом, с мрачным подбородком профиле я заметил легкое удивление.

Через покалеченный, тощий пристанционный скверик вышагивали два немца, и, видать, не простые солдаты. Один, подтянутый, высокий, с непокрытой, благородно седой головой, глядел в землю. Второй, плотней, пошире, в кепи с наушниками, в длинной, заплетающейся в ногах шинели, суетливо оглядывался и спотыкался на каждом шагу.

Высокий и седой шел как-то скособочившись. Я взгляделся и ахнул: немецкий офицер нес нашу упаковку питания. Да, нашу! Уж ее-то я мог узнать издали.

Немцы подмаршировали ближе. Сзади них, с автоматом в одной руке, другой почтительно придерживая на весу толстый портфель из желтой кожи, вышагивает Витя Солнышко. Роба, что полная луна в майский вечер, так и светится, на груди болтается новенький электрический фонарик — видать, только что снял с офицера, нацепил на себя. Роба сияет, а грудь — колесом, словно украшена не фонариком, а орденном. И этот солидный портфель — для министра, не ниже.

— Стой!.. Эй, проходимцы! Вам говорят!.. Хальт!

Немцы остановились перед нами. Тот, что нес нашу упаковку питания, смотрел по-прежнему в землю, второй со страхом уставился в заросший черной щетиной подбородок капитана.

Витя, перекинув через плечо автомат, козырнул свободной от портфеля рукой:

— Товарищ гвардии капитан, разрешите доложить!.. Вот эти по балочке умотаться на машине хотели... Задержал, словом.

— Где? По какой балочке?

— Да тут, за станцией. Без дороги чешут, сволочуги. Я очередь дал, стекло разбил, шофер носом клюнул... А вот эти сидят, как сурки, глаза тарашат, пистолеты держат, а не стреляют... Ну, я им пригрозил: «Вылезай, буржуазия!»

— Молодец!

— Да вот, чтоб не забыть, в машине ящичек остался. Хотел я их заставить тащить, да раздумал — не справятся. Невелик вроде, а тяжелеек. Железный.

— Сейф! Несгораемый?!

— Кто его знает, может, и сгораемый. И вот это... Вдруг пригодится.— Витя протянул портфель.

— Вот что, друг! Гони их с ходу в штаб полка вместе с портфелем. А ящичек, сообщи, мы сейчас приберем.

Солнышко вытянулся и козырнул:

— Товарищ гвардии капитан! Нельзя мне отлучаться от рации. Пошлите кого другого.

— От рации?.. А-а, это ты?..— Капитан взгляделся в улыбающуюся физиономию Солнышка. Тот улыбался, как и всем: «Ты не тушуйся. Сам видишь, я прост...» Капитан перевел взгляд на пленных, махнул рукой:

— Черт с тобой!.. Эй! Тищенко! Васильев! Доставить в штаб полка. Да чтоб вежливенько, чтоб волосок не упал!..— Бросил Солнышку: — Отдай им портфель... Везучий ты, парень.

— Так точно, повезло! — бодро ответил Витя.

— А это что за ящик? — спросил капитан.

— Это наше... Ну-ка, друг, освобождайся. Быстро! Быстро! Ну, вот и все. Бывай куда, вряд ли встретимся.

За спинами немецких офицеров встали два пехотинца, подтолкнули легонечко:

— Шнель, ребятаки.

Витя бережно положил к своим ногам упаковку питания.

В портфеле, который Солнышко торжественно доставил, оказались бутерброды и бутылка пива, а в железном ящике — документы. Седой офицер, возвративший мне в целости и сохранности упаковку питания, оказался полковником.

К Вите Солнышку прискакал адъютант:

— Ты оружие у этих отобрал. Где оно?

— А зачем им оружие? Отвоевались.

— Не рассуждать! Личное оружие им оставляют.

— Пистолеты если?.. Так они их побросали. Поди подбери. И какое это оружие, сам посуди...

Адъютант уехал ни с чем.

А Солнышко врал: он прибрал пистолеты немецких штабистов, они лежали у нас в карманах. Мне Витя подарил крошечный бельгийский браунинг полковника, чтоб лишка не гневался.

Солнышко не наказали, но и благодарности не объявили, обещанный орден тоже придержали. Он по-прежнему оставался радистом в моем подчинении. Я удесятирил за ним надзор.

В учебе он преуспел: помимо «двойки» и «семерки», стал отличать на слух еще две цифры — «четверку» и «тройку». Первая звучала, как «горе не беда», вторая — «идут радисты...»

Письмо, запоздавшее на двадцать лет

Это произошло летом 1943 года. Имена и фамилии здесь подлинные.

И на фронте случалось отдыхать.

Мы стояли по Донцу во втором эшелоне. Редкие снаряды из самых дальнобойных немецких орудий долетали до наших окопов, да и те, пушенные на авось, не приносили большого вреда. Не рвутся мины, не свистят пули, связные не ползают на брюхе из роты в роту. Телефонисты всюду протянули двойную линию, где нужно — окопали кабель, где нужно — закрепили: ничто не зацепит, ничто не порвет, связь, как в столице, — снимай трубку, говори с кем хочешь. Радисты снова сколотили зуммерный стол, тренировались. Витя Солнышко, если не удавалось улизнуть, дремал на тренировках, проверяя на практике старый солдатский афоризм: «Солдат спит, а служба идет».

Иногда мы ходили купаться на Донец, иногда заглядывали в наполовину уцелевшую прифронтовую деревеньку, где еще оставалось несколько семейств, в том числе одно — мать и дочь. Мать выглядела старухой, дочери было лет шестнадцать — бледная от недоедания, умеренно миловидная, с застенчиво пугливыми глазами. Звали ее Настенькой. На эту-то Настеньку мы и ходили любоваться, просто так, без какой-либо задней мысли.

Чаще нас навевывался лейтенант Оганян. Приходил, садился, молчал, досиня выбритый, насуспенный, из-под густых и жестких бровей глядят в сторону загадочно темные, маслянистые глаза. Настенька при нем обмирала от страха. Где ей было знать, что лейтенант Оганян — безобиднейший человек на свете.

Изредка офицерам к солдатскому котелку шей выдавали доппаек — какую-нибудь банку рыбных консервов и пачку печенья. Лейтенант Оганян никогда не съедал его один, нес к нам, а уж мы-то без угрызения совести помогали ему расправиться, даже забывали сказать «спасибо». Лейтенант Оганян поставил себе за правило всеми силами оберегать своих подчиненных. Мы не рыли штабных землянок, только изредка, в крайней нужде помогали запарившимся телефонистам наводить связь; всякий проштрафившийся был уверен, что наш взводный станет защищать его с пеной на губах перед начальником связи. Да и учебой нас не обременял. Зуммерный стол был скорее щитом, ограждавшим от попреков: мол, радисты бездельничают в обороне. А мы-таки бездельничали, всласть отсыпались, телефонисты и связные ПСД звали землянку радиовзвода — «Сочи».

Лейтенант Оганян не осмелился признаться Настеньке, зато признался мне:

— Хар-рошая девушка...— Вздох, мечтательно грустный взгляд.— Вот кончится война, останусь жив...— Снова вздох.— Честное слово, женьюсь... Не веришь?

Если б я был постарше и поумней, то наверное бы сообразил и не рассмеялся. Но мне лишь недавно исполнилось девятнадцать лет, я из кожи лез, чтоб выглядеть тертым калачом, не шутите — знаю изнанку.

И я рассмеялся:

— Завтра уйдем, послезавтра забудешь. Сколько еще таких хороших встретишь.

Я не подозревал, что плюнул в душу лейтенанту Оганяну. Он взорвался:

— Мал-чишка! Испорченный человек!

— Ну вот и обиделся...

— Мол-чать! Как разговариваешь?.. Я кто? Лейтенант! Ты кто? Младший сержант!.. Встать! Ка-ак разговариваешь?!

Ну, это было слишком. Разговаривали-то всего-навсего о Настеньке — что ж, я должен вытянуться в струнку, как в тылу на параде, взять под козырек: «Так точно! Хорошая, глаз не отвести! Непременно женитесь, товарищ гвардии лейтенант!»?

И мы шумно поспорили. Через полчаса помирились.

Но на следующий день меня вызвал начальник связи полка. Он вообще не любил радистов, а меня особенно: без особого на то повода звал «философом» — более презрительной клички для него не существовало.

Начальник связи сидел на нарах без сапог, китель с капитанскими погонами накинут поверх нижней рубахи, шлепает картами, которые он на днях отобрал у нас.

В сторонке сидит смущенный и надутый Оганян. Неужели донес? Такого еще не случалось. Вряд ли...

Начальник связи поднял на меня по-начальнически беспощадный взгляд:

— В-вы!.. В-вы кто так-кой?..

Называет меня на «вы» — значит, табак, попал не в добрую минуту.

— В-вы кто такой, спрашиваю?.. Мол-чать!.. Ка-ак стоите? Где вы-правочка?

Я рад бы встать по всем правилам устава навтыжку, но землянка низкая, упираюсь пилоткой в бревенчатый накат.

— В-вы с кем пререкались? Кто он вам?! Может, он ваш подчиненный? Может, в-вы завтра мной захотите командовать? Может, мне сейчас вскочить и встать по стойке «смирно»?.. Мол-чать!

Молчу. Кошусь на оскорбленно надутое лицо Оганяна и гадаю: он или не он? Похоже, до меня начальник связи песочил самого Оганяна.

— Распустили вас! Интел-лигенция! Жирком заросли, от сна опухли! Ф-философствуете!..

И мне вдруг стало весело: «Чеши, чеши себе на здоровье. Брань на вороте не висит... А что ты со мной сделаешь? Ну-ка... Не расстреляешь, выкуси, вина не та. В стрелковую роту пошлешь — нашел чем испугать».

И, наверно, начальник связи по моему лицу понял: как ни кипятись — не проймешь. Он в сердцах гаркнул:

— Десять суток строгого ареста!

Мы с Оганяном переглянулись: «На фронте — и арест! Ну, брат, оторвал».

— Лейтенант Оганян! Обеспечьте!

Хорошо сказать: «Обеспечьте!»

Случалось рыть разные землянки в обороне, но чтобы была при штабе полка когда-нибудь вырыта землянка гауптвахты — этого не приходилось видеть ни мне, ни Оганяну.

«Обеспечьте...»

У Оганяна, когда он вернулся к себе, был сумрачно сконфуженный вид.

— Куда я тебя обеспечу?

— Это уж не моя забота, — ответил я, демонстративно снимая пояс, протягивая своему озадаченному начальнику.

— Испорченный человек... Что из тебя вырастет?..

— Не имею понятия.

— Надо было заварить кашу... — Он мял мой ремень, не зная, в какую сторону направиться.

— Я не виноват, что дошло до начальства,— съехидничал я.

— А я виноват?.. Думаешь, я донес? А? — возмутился Оганян, возмутился искренне.

Но приказ есть приказ — нужно выполнять.

Оганян, страдая оттого, что ведет без пояса под арест своего подчиненного под взглядами разведчиков, телефонистов, часовых из комендантского взвода, вяло шагал впереди меня для того, чтобы не подумали — конвоирует, и просто из принципа — «глаза бы мои на тебя не глядели».

Армейская истина гласит: ничего нет невыполнимого. Нашлось место и для «губы».

В то время, когда мы только что располагались в обороне, связные ПСД на скорую руку выкопали себе крошечную землянку — сойдет, не простоишь долго. Но время шло, мы не снимались с насиженного и уж вовсе не такого плохого места. Связным надоело спать по очереди: они отгрохали обширную жилплощадь с просторными нарами, с двойными накатами. Старую землянку бросили.

Она и спасла Оганяна. Не случись ее, ему пришлось бы уступить мне свою собственную персональную землянку, а самому спать на моем месте, на общих нарах.

— Сиди,— сказал он мне сердито.— Сейчас часовой пришло.

И ушел, забыв забрать мой ремень.

Часовым оказался не кто иной, как Витя Солнышко. Он принес с собой чью-то винтовку и явно недоброжелательное отношение ко мне.

— Ребята купаться собрались,— сообщил он.

— Не выйдет. Сторожи-ка меня, не то сбегу.

— Да беги, с плеч долой. Купаться бы пошел. Пододвинься, что ли?..

Я пододвинулся, мой часовой поставил мне в ноги винтовку, улегся рядом.

Все нары этой землянки были засыпаны письмами. Мы лежали прямо на них.

ПСД — пункт сбора донесений. Отсюда легкие на ногу связные бегают по подразделениям, приносят сведения. Если мы, радисты,— более современная связь по сравнению с телефонистами, то связные ПСД, должно быть, ведут свою родословную от того греческого парня, который принес из-под Марафона в Афины лавровую ветку.

Но ПСД в полку заменяет еще и почтовую контору. Сюда доставляются письма, те же связные их разносят. Здесь, в бывшей землянке ПСД, остались лежать какие-то письма, и лежат они уже больше недели.

Я взял письмо, поперек адреса жирно выведено: «в ы б ы л». Другое— «выбыл», третье, четвертое... Кто-то убит, кто-то ранен, наверно, есть и просто откомандированные — на всех одно и то же слово «выбыл», не сказано лишь куда: в другую часть, в госпиталь или на тот свет?

Знаю, непорядочно читать чужие письма. Знал это и тогда.

Найди мы случайно оброненное письмо, в голову бы не пришло — вскрыть, попытаться, наверняка постарались бы доставить тому, кому адресовано. Но тут письма — б ы в ш и е, ничьи. И еще, наверно, человек под арестом позволяет себе больше, потому что считает себя вне закона.

Открытки, секретки, конверты, склеенные хлебным мякишем, просто свернутые треугольником письма. Корявые, дрожащие буквы, должно быть выведенные старушечьей рукой, на бумагу, поди, упала не одна слеза — мать пишет сыну, а сын-то «выбыл»... Или крупный, солидно неуклюжий почерк, буква громоздится на букву: «Папа! Я учусь в пятом классе, помогаю маме...» Папа тоже «выбыл»...

Мы привыкли к тому, что постоянно кто-то «выбывает», и не безликие адресаты, о которых знаешь лишь ничего не говорящую фамилию и имя, а товарищи.

Нам вдвоем было всего тридцать девять лет. При любой возможности мы отворачивались от всего, что нам напоминало смерть.

Мы без угрызений совести отбрасывали в сторону и письмо старушки матери, и письмо серьезного пятиклассника. Мы искали другие письма — от девушек, чтобы приобщиться к тому, чего сами еще не испытывали — любовная тоска, разлука, счастливая дерзость от скрытого признания. Мы даже робко рассчитывали про себя не остаться сторонними наблюдателями, а объявить о себе. Пишут же «выбывшим», письмо наверняка останется без ответа, так что мешает нам ответить?

Мы искали письма от девушек.

Из многих писем мы отобрали только два. Прошло двадцать лет, а я почти дословно помню целые куски из них.

Кажется, из Свердловска она писала ему:

«Сейчас ночь. Я боюсь ночей. Днем — работа, и, что скрывать, не-легкая. Днем — люди, а ночью — ты. И вот тогда-то я начинаю чувствовать, что ты такое. Сказать, что с одной стороны — город, завод, цех, прохожие, знакомые, друзья, с другой — ты, ты — полмира! Нет, мало! Боюсь, что скоро станет легче дышать, меньше окажется работы, больше досуга и тогда — пустота, тогда никуда не спрячешься от тебя. В какое несчастное время мы узнали друг друга! Знакомые, друзья, город, весь мир, в котором я живу, не могут заменить тебя. Тебя нет, нет и жизни. А ты не отвечаешь мне уже на третье письмо! Я без тебя — бессмыслица, досадная случайность на свете. Ты можешь это понять? Ответь мне! Пиши, даже если некогда...»

Подпись была неразборчивой. Тот, кому адресовано письмо, знал ее имя, для нас оно оставалось тайной.

Но если бы мы и сумели разобрать имя, вряд ли решились отвечать. Тот для нее не полмира — весь мир, нам места нет. Слишком серьезный человек писал это письмо. Слишком серьезный, а возможно, и слишком взрослый, он отпугивал нас.

А второе письмо-секреточка унижено ровными и чистенькими строчками. На адресе, как и полагается, наш номер полевой почты, адресовано некоему Евгению Полежаеву.

«Твоя фотография стоит на моем походном столике, ты на ней слишком строгий. Ты следишь за мной. И твой взгляд заставляет меня вглядываться в самое себя. Как хочу быть чистой, умной, красивой перед тобой. Как хочу быть достойной тебя!..»

Тут уж не мир, не полмира, тут намного проще — люблю, хочу быть достойной. И нет угнетающей серьезности, и где-то между чистеньких строчек проглядывает девичья игривость, и подпись ясная и отчетливая, само имя простенькое, наивно лубочное — Любовь Дуняшева.

Я и Витя Солнышко переглянулись: «Ответим?» — «Ответим!»

— Беги в землянку, принеси мою полевую сумку, — приказал я часовому.

И он сорвался, оставив мне на сохранение свою винтовку.

В полевой сумке, захваченной мной еще под Сталинградом из покинутой немцами землянки, хранились дневник, письма матери и целая

коллекция автоматических ручек. Мне несли их даже незнакомые солдаты, спрашивали:

— Где здесь чудак, который ручки на махорку меняет?

— Я.

— Бери.

У меня были ручки со стеклянными витыми перьями, с золотыми перьями, была ручка, инкрустированная серебром — не писала, — была, наконец, большая черная ручка, куда входило чуть ли не полпузырька чернил.

Этой-то внушающей уважение ручкой я и вооружился.

Витя Солнышко встал за моей спиной, приглушенным голосом давал советы:

— За середку колупни, жалостливее, со слезой...

И я начал:

«Дорогая и незнакомая нам Любовь Дуняшева!

К нам случайно попало Ваше письмо...»

Разумеется, при каких обстоятельствах оно попало, я скромно умолчал.

— Со слезой, чтоб прошибло...

— Да иди ты к такой матери! Не мешай...

«Поверьте, что мы от всей души сочувствуем Вам. Мы искренне тронуты Вашим большим и чистым чувством к незнакомому нам человеку. Мы еще не знаем, где находится Евгений Полежаев, но верьте — найдем его след. Найдем и все сообщим Вам. Мужайтесь! Рассчитывайте на лучшее...»

Витя Солнышко сопел за моим плечом.

Под конец я свернул с основной темы и разогнался:

«Ваш обратный адрес — полевая почта. Мы поняли, что Вы разделяете нашу судьбу, служите в рядах нашей доблестной армии. И нам представляется Ваш Высокий Образ — или сестры, ползущей с сумкой к стонущим раненым, или ассистентки, подающей седому хирургу инструменты во время операции, или терпеливой, доброй сиделки у кровати больного...»

Помню, я никак не мог вырвать нашу новую знакомую за границы медицинского обслуживания.

Витя просил — «со слезой», я же работал по принципу: лезть душу вынимает, оно верней, не дает осечки.

Мы заклеили письмо, написали адрес, мой часовой сразу же сорвался с места, бросился в новую землянку ПСД, вручил с соответствующим наставлением:

— Не затеряйте, черти.

Десять суток строгого ареста...

По дисциплинарному уставу мне полагалось днем не спать, через день получать горячее питание, остальное время сидеть на черством хлебе и водичке, размышляя о своем проступке.

Я спал в компании своего часового сколько влезет и днем и ночью. Как только приходило время обеда или ужина, Витя Солнышко хватал котелки и бежал на кухню. Повару, заносящему черпак, он говорил значительно:

— Арестованному.

Арестованный, потерпевший — как не пожалеть бедолагу! — и повар наваливал в наши котелки погуще и побольше.

Нас не тащили к зуммерному столу, не заставляли учиться, не посылали в караульный наряд, предоставили распоряжаться временем полностью по своему усмотрению.

Надоедало торчать в землянке, и я надевал забытый Оганяном пояс, вместе со своим безотказным часовым шел к Донцу купаться. Винтовка часового, разумеется, оставалась в углу на нарах, ждала нашего возвращения. При этом надо было лишь не попадаться на глаза начальнику связи, да и встречи с Оганяном тоже желательно избегать. Столкнись с Оганяном — мы понимали — поставим человека в неловкое положение: должен наказать, а не хочется.

Часового положено менять. И в первый же вечер пришел вооруженный винтовкой радист из новеньких, на физиономии которого я уловил явное желание — добросовестно выполнить возложенную обязанность. Но Витя Солнышко прогнал его:

— Иди! Иди себе. Скажи, что я бессменно буду караулить.

Я не прочь был находиться под арестом все десять суток, если нужно — и больше. Витя Солнышко, не рассчитывая на смену, не прочь был охранять меня. Но...

Но пришел приказ менять оборону — из второго эшелона в первый.

И нас, двух лежебок, выгнали из обжитой, покойной арестантской землянки, бросили на помощь телефонистам снимать так хорошо проложенные и так верно служившие линии.

Пришлось после отдыха высунув язык бегать с тяжелыми катушками.

Прошло немало дней. Забылась история с моим арестом, забылось обжитое место во втором эшелоне. В новом овраге возник земляночный городок, ничуть не хуже всех остальных, покинутых нами.

Возродился даже неизменный зуммерный стол — верный признак, что противник нас особенно не беспокоит.

Витя Солнышко стал выдумывать себе болезни, пропадал в санроте — там появилась толстая, добрая сестра, которая сводила с ума не одного Витю.

У меня износились сапоги, и я отдал их ремонтировать рябому повозочному из комендантского обоза.

Шли будни...

Мне принесли письмо.

Я вертел треугольник со штемпелем: «Солдатское письмо — бесплатно», вглядывался в незнакомый почерк, гадал — от кого?

Я переписывался только с матерью. Нет, не от нее... Случалось, девчонка кого-нибудь из наших ребят писала: «У меня есть хорошая подруга, она хочет переписываться с фронтовиком, дай адрес...» Давали мой, конечно, с рекомендацией без лишней скромности: «Геройский солдат, парень — что надо...» И приходило письмецо: «Ах, как я вас уважаю за героismo...» Коробило от стыда и за нее, и за самого себя.

Подозревал — и сейчас такое. Раскрыл...

Нет, что-то не то...

«Спасибо, спасибо за доброе участие. Сегодня только узнала и спешу поделиться радостью: Евгений Полежаев жив! Он был легко ранен, лечился, теперь снова вернулся в свою часть. Его полевая почта такая же, как и Ваша, только литер другой — «Г». Разыщите его, расцелуйте его за меня. Не сомневаюсь, что Вы станете с ним друзьями... Попросите показать мою фотографию. На ней Вы увидите девчонку, весьма хруп-

кую, тепличную. Но эта девчонка, уверяю Вас, много пережила. Да, да, очень много. Вы не поверите, когда увидите... (Я и сейчас в это почему-то не особенно верил — кокетничает.) Вы пишете, что я представляюсь Вам медсестрой, но это не совсем так. Я ношу погоны с черной окантовкой и эмблемой перекрещенных молний. Словом, я — связистка.

Еще раз, встретьтесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня.

Ваша Любовь Дуняшева».

Я бросился к Вите Солнышку:

— Читай! Ответ!

Витя прочел и умилился:

— Ишь ты, связистка... А может, радистка?

— Может.

— Совсем родня.

— На седьмом киселе.

— Так что — пойдем знакомиться, — предложил он. — По литературе — этот Полежаев воюет во втором батальоне.

— Сейчас?

— А когда же?

— Нет.

— Почему?

— Сапоги...

Витя меня понял.

Мои сапоги в ремонте. А какой уважающий себя фронтовик пойдет на первое знакомство в обмотках? Может, Полежаев — офицер, нельзя ударить перед ним в грязь лицом. Обмотки? Нет! Зачем вводить порядочного человека в заблуждение — мол, эти ребятки лыком шиты.

И мы стали торопить рябого повозочного, ждали сапоги, перечитывали письмо Любы Дуняшевой.

Рябой тянул...

Наконец сапоги получены. Но мне решительно не везло по мелочам: во-первых, рябой на головки наложил некрасивые, бьющие в нос заплатки, во-вторых, потерялась с пилотки звездочка. Чепуха, но без звездочки моя старая, выгоревшая пилотка вовсе утратила вид. Как ни разглаживай ее, как ни сандаль ладонью — все равно походит на дурацкий колпак. Представлялось — вскину ладонь к этому колпаку: «Здравия желаю! Разрешите познакомиться...» Каково впечатление?

И все-таки мы начистили сапоги до блеска, поставили у земляных нар, легли спать. Решено — идем в гости к Евгению Полежаеву.

А в пять утра раздался крик:

— Подъ-ем!!

Наши роты двинулись в наступление.

Мы торопливо натянули начищенные сапоги.

Во второй батальон, но не в гости.

Комбат-два Гречуха со своими ротами перебрался через речку Разумную. Сгибаясь под упаковками радиостанции, мы спешили к нему.

Про Разумную солдаты говорили: «Переплюнуть можно, а перейти нельзя». Наш берег — плоский, болотистый, немецкий — высокий, обрывистый, с известковыми сбросами. Наши позиции — как на ладони, немцы укрыты гребнем обрыва, сидят в добротных окопах.

По заболоченному лугу прокопаны траншеи с черноземными бруст-верами. Они до половины залиты темной, закисшей водой. Мы сначала усердно маршировали по травке вдоль траншей. Конечно, и мины шлепают, и пули свистят, но сапоги-то начищены, охота ли лезть в воду?

Но где-то впереди в синем воздухе родился легкий, как дыхание, звук. Секунда — и он превратился в давящий вой. Взрыв! Черная земля вскинулась на дыбы.

Мы пригнулись, поднажали...

Новый вой. Черная грязь на миг закрыла даже солнце. Лупят по нас тяжелыми... Тут уж не до форсу, прыгнули начищенными сапогами в залитые траншеи, побежали, почти касаясь подбородками воды.

А взрывы сзади, взрывы спереди, комья земли шлепают по голове, спине, коробкам рации.

Воеет новый снаряд, захлебнулся. На мгновение — тишина, словно ты оглох. Падай! Рядом! Вжался лицом во влажный бруствер.

Похоже, мягким и тяжелым мешком стукнуло по голове, снова затянуло землей солнце, угарно запахло химией.

— Жив, Витька? — Собственный голос чужой, издалека.

— Жив. Топаем дальше.

Подымаясь, на бруствере вижу винтовочную гильзу и звездочку, сияющую рубиновой эмалью, — как раз для моей пилотки. Хватаю звездочку в кулак — находка! Бегу, шлепая по воде, чуть не достающей до колен.

Траншея вела к переправе.

А переправа пристреляна. Каждые пять минут, не чаще и не реже, взмывают рядом с ней столбы грязи, опадают, седой дым цепляется за жидкие кусты.

Речка черная, стоячая, ручей — не речка, на самом деле переплюнуть можно. Через нее перекинута наспех следи, забросаны хворостом. Хворост в засохшей грязи, и на нем трупы... И только ли трупы?..

— Милые! Родные! Помогите, голубчики!.. Так вашу мать! Помоогите!

Кричат раненые.

Они рядом, мы видим их, они нас — нет. Уже много часов раздаются их голоса в воздухе, только сейчас начавшем наливаясь зноом. Умоляют, проклинают, зовут, грозят:

— Родненькие! Сволочи!.. Братцы!.. Помогите же, гады!..

И стоны...

Один ползет в нашу сторону. Я даже вижу его лицо — темное, как старая медь, раскрытый рот, хватается непослушными руками, старается приподняться, руки подламываются.

Я отворачиваюсь, но от криков не отвернешься...

Их много, нас двое, переправа пристреляна. Только сунься — и останешься лежать там. Нам отдан приказ: прибыть с радиостанцией на тот берег как можно скорее, связи нет. Нам отдан приказ...

— Товарищи! Братцы! Гады!..

Витя Солнышко глядит на меня, на его размякшей, непривычно растерянной физиономии вопрос: «Что?.. Приказывай!»

Тут-то он вспомнил, черт возьми, что я старший.

— Ищем брод, Витька...

Сам прячу глаза. Неподалеку падает снаряд, нас осыпает землей.

Ползем, таща на спине радиостанции. Ползем рядом с водой. Разумная — переплюнуть можно, перейти нельзя... Крики раненых стоят в ушах.

Несколько шагов до того берега. Темная вода, она везде одинакова. Где брод?..

— Снимай упаковку! В руки!

Лезу в воду первым.

Воды по пояс. Держу на плече приемопередатчик.

Несколько шагов, одна секунда — и мы на другой стороне. Даже по грудь не было. Где-то в дальнем уголку мозга — удивление: почему до нас все лезли на мостик?.. Так легко перебраться даже не умеющему плавать. Почему?.. Не кричали бы теперь там...

Мы под высоким берегом, он прикрывает. Ни один снаряд сюда не залетит, ни снаряд, ни пуля, ни даже круто падающая мина. Какая это великая свобода — распрямиться во весь рост!

Я оглядываюсь назад. Проклятый плоский берег, много же полегло на нем наших людей. А где-то стонут раненые, их стоны не доносятся сюда.

Что-то врезалось в руку. Разжимаю кулак, на ладони — звездочка. Роняю ее на землю. Мне сейчас наплевать, как будет выглядеть моя пилотка.

Мы захватили деревеньку, стоящую на самом гребне высокого берега. Стоящую... Теперь деревеньки нет, скучными наростами среди черных головешек торчат печки, не уцелело даже ни одной трубы.

Зато уцелели все погреба. Здесь они выкапываются не под домом, как в наших местах, а отдельно во дворе. Почти все цементированы, крутые лесенки ведут вниз. В таком-то погребе мы и устроились с радиостанцией. Как в блиндаже, выдержит прямое попадание.

Однако снаряды уже не летят и мины не рвутся. Далеко-далеко суетливая перестрелка. Немец сбит, откатывается.

Витя Солнышко уже наострил лыжи:

— Пойду прогуляюсь, младший сержант.

— Сиди. Сам хочу прогуляться. В пять ноль-ноль свяжешься со штабом полка.

Я приновился: как только у Солнышка появляется зуд в ногах, спешу оставить его одного. Радиостанция на его полной ответственности, попробуй только бросить ее. И уж тогда-то он терпеливо ждет, пока я брожу поблизости.

На земле под ногами вызванивают стреляные гильзы. Вонючий дымок тянется от пепелищ. Я направился к окраине деревни, к обрыву, чтоб с высоты взглянуть на тот берег, с которого мы пришли.

Посреди улицы, какой-то плоской и слишком широкой без домов, выкопана большая квадратная яма — должно быть, немцы готовили себе землянку и не успели ее накрыть.

На дне ямы убитый — наш, судя по суконной гимнастерке и синим диагональным галифе — офицер. Он лежит, раскинув руки, разметав ноги в солдатских кирзовых сапогах, рослый, статный, на груди набор орденов и медалей, курчавая голова откинута назад. Курчавая голова, а лица нет. Должно быть, осколок попал ему в затылок, вышел через лицо — из кровавого месива торчит белая кость.

Я чуть задержался и пошел дальше — мало ли убитых, еще один. Лица мертвых обычно не запоминаются, этот же запомнился мне тем, что у него нет лица.

Вот и окраина деревни, вот сбегаящий вниз обрыв, морщинистый, источенный ручьями, что стекают весной к Разумной. А Разумная отсюда приветлива — берега опушены кустами, вдоль кустов вьются певучие тропиночки и воронено блестят укромные заводи, в таких неплохо клюют окуньки. За речкой — неистребимо зеленые, выглаженные луга, их дальняя окраина купается в голубом мутноватом мареве, глаз не осиливает толщу прозрачного воздуха. И на эту доверчиво распахнутую землю рядом со мной из окопов, выдолбленных в известковой кромке берега, уставились два пулемета с хищными стволами.

Доверчиво распахнутая земля под стволами. Бежали хозяева пулеметов, стволы молчат, но и в немоте их ощущается ожесточенная злоба. Я повернул обратно.

Возле знакомой мне квадратной ямы стоит на насыпи солдат, смотрит на убитого кудрявого офицера, свободно разметававшегося на спине.

Солдат — тощий, нескладный парень с длинным, серым от пыли, пятнистым лицом. Он, как пастух на посох, опирается на винтовку, за спиной у него вещмешок с котелком, вид отрешенный, со стороны — ни дать ни взять иссушенный человеческими несчастьями библейский пророк.

На груди убитого уже вырезан кусок гимнастерки вместе с орденами и медалями. Кто-то из знакомых забрал документы и вместе с ними ордена, чтоб сдать в штаб.

Я заглянул под каску в грязное тихое лицо солдата. Длинное лицо не то чтобы печально, скорей терпеливо — парень привык к смерти, привык к крови, если и ужасается, то про себя, знает: кричи, зывай, негодуй — никого не удивишь, не тронешь, не поможешь.

— Знакомый? — спросил я, кивая на убитого.

Он помолчал, обронил скупо:

— Да.

— Кто это?

— Командир нашей пулеметной роты Полежаев.

— Евгений Полежаев!

Парень покосился на меня из-под каски и не полюбопытствовал, откуда я знаю Евгения Полежаева, командира пулеметной роты при втором батальоне.

Курчавая, закинутаая назад голова, широкая грудь, раскинутые руки... Кто-то уже взял у него документы, а вместе с документами наверняка — письма Любы Дуняшевой, а с письмами — ее фотокарточку...

«Попросите показать мою фотографию. На ней Вы увидите девчонку весьма хрупкую, тепличную. Но эта девчонка, уверяю Вас, много пережила. Да, да, очень много...»

Я почему-то не верил, что она много пережила. Тот, кто действительно много пережил, так легко об этом не говорит...

У Любы Дуняшевой переживания впереди.

— Не ты забрал его документы?

— Нет.

— И ты в них не заглядывал?

Парень недружелюбно покосился на меня:

— А зачем? Я его не по документам знал.

Солнце опускалось, косая тень от отвесной стенки вкрадчиво подбиралась к убитому, собираясь стыдливо его накрыть. Он лежал лицом к синему, безоблачному небу...

«Встретьтесь с Женей и непременно расцелуйте его за меня».

Расцелуйте? Осколок попал в затылок.

Я отвернулся и зашагал к себе.

Шагал и глядел в сапоги, заляпаные глиной, в белых стручьях за-сохшей известки...

Солнышко сидел возле радиостанции, с налившимся кровью лицом орал в микрофон:

— Фриц! Не занимай волну! Ты, гад картавый! Убирайся к чертовой матери! Прием!

Обычная история: какая-то немецкая радиостанция случайно попала

на нашу волну, мешала связаться с полком. Витя Солнышко считал: уж если он работает, то эфир — его монополия.

Всякие посторонние разговоры по радиостанции строжайше запрещены, а разговоры с противником — тем более. В другое время они могли бы кончиться печально: немецкие пеленгаторы засекут — лови тогда снаряды. Раз радиостанция — значит штаб, а раз штаб — снарядов не жалеют.

Но сейчас немцы смяты; можно представить, какая у них там суматоха и путаница — не до пеленгирования.

Витя Солнышко, увидев меня, смутился, виновато заворчал:

— Колготят и колготят, слово не пропихнешь... — И вдруг без перехода просиял: — Пляши!

Я отвернулся, шагнул в угол.

— Пляши! Видишь?

Он показал мне открытку.

— Тебе пишет, не мне... «Вы вошли в число моих друзей...» На-ко вот, ты вошел, а я нет... Пляши, не то не отдам.

Я почему-то нисколько не удивился, что открытка от Любы Дунашевой пришла именно в этот день, в этот час.

«Я немного приболела, лежу, пользуюсь свободным временем, чтоб поговорить со своими друзьями. А Вы вошли в число моих друзей. Почему Вы не ответили на мое письмо? Нехорошо забывать. Встретились ли Вы с Женей? Признаюсь Вам, до сих пор меня не оставляет светлая радость, что он жив, здоров и что у нас с ним есть общие знакомые».

Всего несколько фраз, много ли напишешь на обороте открытки.

Я тогда не ответил на ее письмо. Не смог.

Через несколько дней в селе Циркуны я потерял свою полевую сумку вместе с дневником, с письмами Любы Дунашевой, с коллекцией трофейных авторучек.

А еще через несколько дней под Харьковом меня ранило.

Но номер полевой почты Дунашевой я помнил хорошо. В госпитале несколько раз принимался за письмо к ней. Начиная и каждый раз откладывал. Не так-то просто, оказывается, сообщить о беде...

«Встретились ли Вы с Женей?» Да, встретился...

«Расцелуйте его за меня...» Нет, этого я не сделал.

Не стал я и другом Евгения Полежаева...

Я трусливо молчал, наконец забыл номер полевой почты, знаю, что он начинался с цифры 18..

Прошло ровно двадцать лет. Двадцать!

Адреса изменились, давно заросли старые раны. Спустя двадцать лет я решился наконец выполнить долг, написать письмо.

Любовь Дунашева, дойдет ли оно до тебя?

